

Юлия МИХАЙЛОВА

## ЗАПИСКИ ДЕВОЧКИ ИЗ «ОБЕСПЕЧЕННОЙ» СЕМЬИ

### Размышления о жизни и науке

В последние годы на страницах различных журналов появилось много воспоминаний людей, которым сейчас лет под семьдесят, а то и под восемьдесят. «Знамя», например, в прошлом году (№ 6) выпустило отдельный номер, посвященный теме «советского детства». В предисловии, написанном Натальей Ивановой, говорится о важности взаимодействия между индивидуальной и коллективной памятью и о стремлении составителей номера представить альтернативу «анонимному большинству, вспоминающему советское детство с ностальгией». Я также принадлежу к тому поколению, чье детство и молодость проходили в советские времена. Однако если я и чувствую ностальгию, то это скорее ностальгия по молодости, по тому времени, когда в жизни все было впереди, когда вокруг были люди, которые меня любили и ничего не требовали взамен. Возможно, многие мне завидовали, потому что я родилась в обеспеченной и благополучной семье. Не буду отрицать — с семьей мне повезло, и она дала мне многое, но нередко те же обеспеченность и благополучие оборачивались своей обратной стороной.

В настоящих записках мне хочется рассказать, как складывалась моя жизнь в Советском Союзе, и в особенности мой профессиональный путь в изучении Японии, как это стало главным делом моей жизни и с какими проблемами мне пришлось сталкиваться. В большинстве случаев я встречала понимание и поддержку со стороны своих родных, но бывало, что представления других людей о нашей семье становились причиной предвзятого отношения ко мне со стороны других, в одних случаях препятствовали, но нередко, наоборот, способствовали моему становлению как личности и профессионала, по-разному влияя на мою жизнь.

#### **Семья, учеба, бабушкины заветы**

Созидательницей семьи в широком смысле я считаю свою бабушку Евдокию Степановну, урожденную Кузнецову. Однако она не смогла бы ничего сделать, и прежде всего просто выжить, не повстречай она в двадцатые годы человека, вскоре ставшего маминим отчимом и которого я всю жизнь считаю своим дедушкой. Это был Во-

---

Юлия Михайлова родилась в 1948 году в Ленинграде. Окончила восточный факультет ЛГУ по специальности «История Японии». Имеет более ста научных публикаций. Несколько лет работала в Австралии. С 1996 года живет и работает в Японии. В журнале «Нева» публикуется впервые.

ловик Аркадий Борисович, тогда еще никому не известный детский врач. Он родился в Киеве, в обеспеченной еврейской семье и окончил медицинский факультет Казанского университета. Его старший брат, Давид стал выпускником Политехнического института в Петербурге, тоже женился на русской (вопреки желаниям семьи), но его карьера не сложилась столь же удачно, как у Аркадия Борисовича, и дедушка до последних дней своей жизни помогал материально и старшему брату, и младшей сестре с ее дочерью, которые жили в Киеве. Им же он оставил часть своего наследства, что было предметом бесконечных трений между дедушкой и бабушкой.

Дед вспоминал, что в годы учения в Казани его только косвенно затронули еврейские погромы, поскольку околоточный всегда предупреждал состоятельных людей заранее, за что и получал неизменно свой рубль. По окончании университета дедушка был направлен на работу в госпиталь в Никольск-Уссурийск, но перед этим заехал в Петроград (шел 1915 год) навестить своего дядю Е. С. Боришпольского, являвшегося психиатром, по воспоминаниям дедушки, чуть ли не при дворе Его Императорского Величества. Дед также утверждал, что один раз ему довелось сыграть в карты с самим Николаем II. Эти воспоминания, а возможно, и вымыслы были одним из любимых рассказов дедушки. Дядя Боришпольский имел свою клинику на ул. Рубинштейна, 36 и скончался только во время блокады. Его жена, в нашем домашнем обиходе «тетя Нюра», значительно пережила мужа и ушла из жизни где-то в 1960-х годах. Мне от нее достались в наследство шелковые шторы и салфеточки, именовавшиеся «японскими». Они хранятся, полуистлевшие, у меня до сих пор. Тетя Нюра была родной сестрой знаменитой танцовщицы и актрисы Иды Рубинштейн, запечатленной на картине В. Серова и прославившейся не только своими представлениями в стиле модерн, но и несколько скандальной репутацией. В семье не говорили об Иде вслух до тех пор, пока в 1970-х годах в Русском музее не прошла выставка «Русский портрет», на которой и была выставлена картина Серова, находившая до этого в запасниках. Из разговоров взрослых мне припоминается, что Ида завещала часть своего наследства родной сестре, но та, конечно, была вынуждена отдать его государству.

Еще в годы Первой мировой войны и японской оккупации дедушка ушел с военной службы, выбрав неожиданную для военного времени специализацию — стал лечить детей. В 1925 году он перебрался с Дальнего Востока в Ленинград и, работая в клинике профессора Н. И. Красногорского, участвовал в создании вакцины для лечения детей от дифтерии. Именно он высчитал пропорцию противодифтерийной сыворотки, необходимую для детей. Это позволило существенно снизить заболеваемость детьми дифтерией, в большинстве случаев являвшейся смертельной болезнью. Занимался он и другими инфекционными болезнями у детей — корью и скарлатиной. По иронии судьбы первой жертвой его исследований оказалась моя мама — он заразил ее и тем и другим. В результате она получила осложнение на уши и всю жизнь страдала плохим слухом.

Бабушка была уроженкой Шенкурска, небольшого городка вблизи Архангельска. Ее семья владела несколькими булочными и своей пекарней. По воспоминаниям бабушки, ее воспитателями и учителями были ссыльные революционеры. Именно от них она якобы усвоила мысль о том, что женщина должна освоить какую-нибудь достойную профессию и работать, чтобы быть независимой в материальном отношении от мужа. Бабушка проучилась два или три года на Бестужевских курсах, но из-за событий 1917 года побоялась вернуться в Петроград с летних каникул. В 1918 году в Архангельске во время английской оккупации она вышла замуж за морского офицера царского флота Смирнова Евгения Алексеевича. Он также окончил университет, о чем свидетельствовал значок, хранившийся в семье. Таким, как он, до революции жало-

вали дворянство. В 1919 году бабушка родила свою единственную дочь, мою маму, но перенесла распространявшуюся в то время «испанку», что отрицательно повлияло в последующие годы на ее слух. Видно, у бабушки и у мамы уши были слабым местом. В 1922 году семья вернулась в Петроград, откуда муж был родом. Однако, как и следовало ожидать, на работу он устроиться не мог и проводил все время в игорном доме, находившемся в церкви на Владимирской площади. Вскоре его арестовали и в 1926 году расстреляли якобы за участие в антиправительственном заговоре. Недавно, разбирая бумаги, я нашла соответствующую справку, выданную бабушке. Таким образом она стала «лишенкой», на работу ее не брали, пришлось шить шляпки и продавать их тут же у ворот дома на Разъезжей, 12, который до революции принадлежал семье Смирновых. Квартиры были уплотнены, и в доме поселилась семья Струцовских, родственником которых был Воловик Аркадий Борисович. Именно к ним он приехал с Дальнего Востока и тут же влюбился в мою бабушку. Сначала она предполагала, что ее первый муж будет куда-нибудь выслан, и не особенно привечала ухаживания деда. Но когда действительность оказалась намного хуже ожиданий, ей пришлось задуматься о том, как выживать. На руках были маленькая дочь, старик отец, старшая сестра, которая успела побывать в эмиграции в Греции, вырастившая детей нянька Ульяна и ее внучка. Как тут было не откликнуться на ухаживания человека, перед которым открывалось неплохое будущее. Уж не знаю, насколько она искренне любила своего второго мужа, или материальные соображения перевешивали, но он ее просто боготворил всю жизнь и мужественно взвалил на себя заботы обо всех ее родственниках. За стол, как она говаривала, садились «сам-семь». Вместо профессиональной карьеры бабушка стала командиром в семье.

В конце 1930-х годов, чтобы получить возможность учиться в вузе, мама была удочерена Воловиком. Однако бабушка, видно, не очень доверяла то ли дедушке, то ли советской власти. Как только деда призвали в армию с началом войны с Финляндией, она умудрилась перевести на себя все денежные накопления.

Все 900 дней блокады семья провела в осажденном Ленинграде. Выжили потому, что с зимы 1942 года жили при Институте детских инфекций, где питание было все же получше. Да и бабушка удивительно рачительно вела хозяйство: она сушила сухари и раздавали их всем поровну, а питались сотрудники больницы все вместе, жили как одна семья. Связи того времени сохранились на всю жизнь, так что когда после смерти бабушки дедушка утратил интерес к жизни и перестал вставать с постели, ухаживать за ним приходили, как ни странно, блокадные друзья, уже сами находившиеся в весьма преклонном возрасте.

Многие дети блокады из-за перенесенной дистрофии болели ревматизмом, который давал осложнения на сердце. У дедушки был какой-то особо острый слух на шумы в сердце. Он мог определить, свидетельствует ли шум об опасном заболевании, или это особенности возрастного периода. Таким образом, он стал одним из наиболее популярных в городе врачей. Помимо ежедневных обходов больных в двух больницах — Институте детских инфекций и на кафедре пропедевтики детских болезней в Педиатрическом институте, он каждый день после работы ходил еще по вызовам на квартиры. Впоследствии мне часто встречались люди, которым он спас жизнь, правильно определив диагноз болезни. Например, сыну японистки Лидии Львовны Громковской Володе, которому тогда было лет 15, он посоветовал спать по 18 часов, а чтобы достигнуть этого, принимать снотворные. В конечном счете Володя выздоровел. Дедушка к тому же был веселым человеком: при обходе больных он всегда шутил, пел и даже плясал для своих маленьких пациентов, что как бы придавало им жизненные силы.

Среди его пациентов были и дети тех, кто «проходил» по «ленинградскому делу». Семья П. Попкова, Я. Капустина, А. Кузнецова он знал не понаслышке, и хотя опасался распространяться на эту тему, все же с малых лет я знала, что в отношении нашего города была совершена жуткая несправедливость. А в 1953 году дед жил в постоянном ожидании ареста по «делу врачей». Я помню, как он простаивал ночью у окна с собранным на всякий случай саквояжем. Но пронесло — скончался Сталин.

Дедушкино положение помогло мне начать в шесть лет изучение английского языка в группе при Доме ученых, а потом поступить в английскую школу. Преподавательница группы Ройтман Римма Исааковна стала мне второй матерью, и за всю ее жизнь (она умерла, когда мне было 18 лет) мы ни слова не сказали по-русски. Если дедушка являлся для семьи источником материальных благ, то вопросами морального и идейного воспитания ведала бабушка. Получение дочерью высшего образования считалось непреложной необходимостью. Неудивительно, что мама поступила в медицинский, который окончила во время блокады, и тут же стала работать хирургом, а потом отоларингологом. Однако в начале 50-х годов ее постоянно увольняли то с одной работы, то с другой. Возможно, это было потому, что она носила еврейскую фамилию отчима, которая в 20-е годы, наоборот, защитила ее от возможности преследований как дочери белого офицера. Вскоре мамин слух настолько ухудшился, что она уже не могла вести прием пациентов. Бабушка настояла, чтобы мама переквалифицировалась во врача-лаборанта. Поскольку ни бабушка, ни мама не смогли реализовать себя в профессиональном отношении, на меня возлагались особенные надежды.

По идее мне следовало бы поступать в медицинский институт, чтобы продолжить семейные традиции. Но химия и физика, необходимые для поступления в медицинский, не были в числе моих любимых предметов, и я боялась провалиться. Гораздо увереннее я себя чувствовала в области гуманитарных наук, особенно английского языка — все-таки занималась им с детства и окончила английскую школу. В семье хотели, чтобы я продолжала изучение английского. Меня же привлекали скандинавские языки — шведский и датский. Однако в год окончания мною школы в 1966 году на эти отделения не производился набор.

Когда я пришла на филологический факультет подавать заявление, оказалось, что в том же здании находился восточный факультет, о котором до этого я ничего не знала. Я сразу и безоговорочно выбрала Японию, что, правда, вызвало недовольство мамы (мол, что изучать япошек), но папа меня поддержал. В те годы в нашей стране о Японии знали не очень много. У одних она связывалась с Русско-японской войной, у других с бомбардировкой Хиросимы. Однако в 1960-е годы уже начинал формироваться и образ современной Японии как страны передовых технологий. В 1964 году в Токио прошли Олимпийские игры, где побывал в качестве судьи по спортивной ходьбе друг моего отца А. И. Иссурин. Особенно он был восхищен японской женской волейбольной командой, которая в пух и прах разгромила советскую. Наверное, именно от него я впервые услышала рассказы о Японии, о скоростных поездках и приемниках «Сони». Я не сомневалась, что профилирующий экзамен по английскому языку я смогу сдать на отлично. Труднее было с собеседованием. Считалось, что на восточном факультете преимущество отдается мальчикам, особенно из союзных республик. К тому же у меня была мамина еврейская фамилия Воловик, а не по папе Хренкова, поскольку бабушка считала ее неблагозвучной для женщины. Папа, который был главным редактором обкомовского издательства Лениздат, принес мне читать книги про Японию, в том числе «Японскую поэзию» Н. Позднякова (1905 год) и что-то из журнала «Мир искусства», авторы которого увлекались Японией. То ли я действительно про-

извела впечатление на приемную комиссию своим знанием японских трехстиший, то ли за моей спиной сработал какой-то механизм связей, на сей раз, по-видимому, отца, но я успешно поступила на отделение истории Японии кафедры истории стран Дальнего Востока. Этот факт определил всю мою дальнейшую жизнь. Правда, еврейская фамилия мне все же отыгралась через пару лет. Из нашей группы стали отбирать студентов для работы на ЭКСПО-70 в Японии. Тогда кто-то из членов райкомовской комиссии, проводившей собеседование, и задал мне вопрос: «А что это у вас за фамилия?» Мои уверения в том, что она, мол, неродного дедушки, да к тому же украинская, не имели никакого воздействия. В Японию я тогда не поехала, но зато родила сына. Ни в одной нормальной стране рождение ребенка не могло бы идти в сравнение с поездкой за рубеж. Но то был Советский Союз, откуда за границу обыкновенному человеку попасть было непросто, и в какой-то момент я все же колебалась — рожать или делать аборт. Так что слава богу, что меня тогда не отобрали для поездки в Японию и вопрос разрешился сам собой.

Учиться в университете было очень интересно. Особенно я любила иероглифику, которую преподавал Михаил Федорович Хван, кореец по национальности. Как известно, до 1945 года Корея была японской колонией, но Хван получил университетское образование. Потом семья Хвана бежала в Советский Союз в надежде на лучшее будущее, но, как и многие другие, оказалась в лагерях. Михаил Федорович вышел на свободу только в 1956 году. Он написал удивительную книгу «Идеография», в которой объяснял происхождение иероглифов и составляющих его частей, рассматривая их как упрощенные картинки-символы, отражающие образ мысли древних китайцев. Об иероглифе «женщина» он говорил примерно так: «Что для женщины главное? — думали древние китайцы. Главное, чтобы она рожала детей и кормила их грудью. Поэтому иероглиф „женщина“ представляет собой увеличенную женскую грудь и руки, которые держат ребенка, а внизу пририсованы совсем маленькие ножки, чтобы женщина не ушла далеко от дома. Голова же ей и вовсе не нужна, рассуждали китайцы, поэтому в иероглифе „женщина“ нет даже намека на голову».

Не менее интересным было чтение научных текстов на историческую тематику. Этот предмет вела Дагмара Павловна Бугаева. В 1958 году совместно с другим преподавателем кафедры японской филологии А. А. Бабинцевым она опубликовала книгу «Современные японские мыслители», а во время моей учебы готовила диссертацию о японском философе Таока Рэйун. Таким образом, мы читали и современные японские научные книги, и цитировавшиеся в них сочинения мыслителей периода Мэйдзи (1867–1912): Фукудзава Юкити, Куга Кацунан, Уэки Эмори и других. Наверное, именно направление работы Бугаевой оказало на меня наибольшее влияние, поскольку я выбрала для дипломной работы тему «Движение за свободу и народные права в Японии (1874–1889)», а поступив в аспирантуру Института востоковедения, продолжала заниматься изучением его идеологии.

### **Институт востоковедения: традиции, традиции...**

К Институту востоковедения больше всего подошло бы название «храм науки». Сначала это был Азиатский музей, где хранились многочисленные коллекции рукописных и старопечатных книг, а также монет, вывезенных русскими путешественниками из стран Азии, в том числе во время колониальных захватов, или полученных в дар от правителей различных азиатских стран. Наличие такой богатой коллекции в столице Российской империи поднимало престиж России в глазах Запада, а в совет-

ское время играло своеобразную идеологическую роль, демонстрируя, как бережно Советский Союз хранит «наследие трудящихся Востока». В институте работали выдающиеся специалисты по Востоку В. В. Струве, С. Ф. Ольденбург, Л. Н. Меньшиков и многие другие. Одна из особенностей творческого коллектива института состояла в том, что, когда в 1956–1961 годах его директором был Иосиф Абгарович Орбели, в нем нашли себе работу многие бывшие узники ГУЛАГа. Традиция свободомыслия продолжала сохраняться и после кончины Орбели. Меня же институт встретил не очень дружелюбно, и на то имелись свои основания. Я не только не принадлежала к семье явно репрессированных, но мой отец был в числе тех, кто назывался «партийной номенклатурой». Естественно, что положение отца накладывало отпечаток и на отношение ко мне: меня воспринимали с недоверием. К тому же тема моей работы не считалась в числе профилирующих исследований Ленинградского отделения Института востоковедения: ни рукописей, ни старопечатных книг по теме «Движение за свободу и народные права» в институте не имелось. Помню, говорили: «Зачем вам такая актуальность?» Пришлось доказывать всем, что я хоть и «партийная дочка», но в состоянии самостоятельно заниматься научной работой. Когда же все увидели, что я сижу изо дня в день за письменным столом, читаю и перевожу тексты, пишу научные статьи и выступаю с докладами, отношение ко мне переменялось, хотя, быть может, не сразу и не у всех. В 1979 году я защитила диссертацию на степень кандидата исторических наук по теме «Движение за свободу и народные права в Японии: история и идеология левого крыла (1874–1889)» в Институте востоковедения, но в Москве. В Ленинградском отделении я стала котироваться позднее, примерно с 1983 года, после того, как выступила с докладом на годичной научной сессии и опубликовала статью о «Социализации детей в Японии».

Занимаясь изучением японского либерализма, я обратила внимание на то, что мало кто даже из наиболее радикально настроенных его представителей, включая тех, которые увлекались русскими народниками, выступал бы с критикой института императорской власти, но зато все поддерживали агрессивную внешнюю политику правительства. Захотелось разобраться, откуда пошли такие веяния. Первое, что приходило на ум, это было обращение к японской традиции. Так я стала заниматься Мотоори Норинага (1730–1801), мыслителем, который считался ведущим представителем «школы национальных наук» в Японии.

Эта «школа» сложилась в XVIII–XIX веках на основе интерпретации японской классической литературы и древних текстов, а потом стала одним из тех течений, в рамках которых формировалась идейная оппозиция правившему Японией дому Токугава. Если правители Токугава опирались на заимствованное из Китая конфуцианство, то заслуга Норинага состояла в том, что он смог предложить альтернативу «китайским учениям» в виде свода японских мифов и легенд под названием «Кодзики» (Записи о делах древности), которые, как считалось, он сумел прочесть и удобоваримо изложить. «Кодзики» возводили род японских императоров к богине Солнца Аматаэрасу и тем самым ставили Японию превыше Китая. Другими словами, можно считать, что именно в учение Норинага уходили корни японского национализма.

В действительности все было не совсем так. Мне удалось показать, что те идеи и понятия, которые Норинага выдавал за японские, в сущности своей являлись китайскими, но были переименованы им в японские. Его же утверждения базировались не столько на фактах «Кодзики», сколько были придуманы им самим в процессе толкования текста, записанного довольно сложным способом, а потом подкреплены верой в правоту учителя, раздутую до культа его учениками и последователями. Понять это мне помогли специалисты по Китаю и Корее, работавшие в Институте востокове-

дения. У нас было принято обсуждать уже почти завершённые работы всеми сотрудниками сектора Дальнего Востока, куда входили не только японисты, но китайисты, корейисты, маньчжуроведы и исследователи других стран Дальнего Востока. Это, конечно, очень расширяло кругозор молодежи, способствовало преемственности знаний. В дальнейшей своей жизни я нигде не сталкивалась с такой практикой обсуждения работ в неформальной обстановке. Интересно, что если в Институте востоковедения я очень стеснялась выступать в присутствии наших авторитетных специалистов, то выехав за рубеж, я обрела смелость и бойко выступала на разных семинарах и конференциях, даже несмотря на то, что это приходилось делать на иностранных языках.

Одним из «постулатов» Института востоковедения была трактовка понятия «традиции» в странах Востока как некоей незыблемой и извечно существующей ценности, передающейся из поколения в поколение. В случае с Японией вообще и «школой национальных наук» в частности такой традицией у нас считалась идея «почитания императора». Когда же в 1988 году я выступила на первой в моей жизни международной конференции Европейской ассоциации японоведения в городе Дареме с докладом, где прозвучала эта мысль, он был встречен с некоторым недоумением. Это как если бы говорилось всерьёз о всенародной любви к Сталину. На Западе в то время как раз становилась популярной выдвинутая английскими учеными Э. Хобсбаумом и Т. Рейнджером трактовка «традиции» как «изобретения» или как «идеологической конструкции» нового времени. Когда же мне задали вопрос, как я отношусь к книге Кэрл Глак «Современные японские мифы: идеология в конце периода Мэйдзи», я вынуждена была признаться, что книгу я не читала, как, впрочем, Хобсбаума и Рейнджера тоже. Если журналы, издававшиеся японскими историками-марксистами, в библиотеки Ленинграда еще поступали, то западная научная литература почти отсутствовала. Мы варились в собственном соку и ни с какими новыми теориями знакомы практически не были.

«Больным местом» для японистов моего поколения был вопрос о возможности научных командировок в страну изучаемого языка. В Японию постоянно ездили одни и те же люди — завсектором Японии В. Н. Горегляд и Г. Д. Иванова, которая еще в молодости успела поработать переводчиком в Маньчжурии. Однако ни М. В. Воробьев, крупнейший специалист по древней Японии, переведший «Свод законов Тайхоре, 702—718 гг.», ни З. Я. Ханин, занимавшийся проблемами дискриминационных меньшинств, в Японию не выпускались. Несколько позднее к «выездным» добавился Г. Г. Свиридов, сын известного композитора и комсомольский деятель районного масштаба. Однако до меня «очередь» долго не доходила. Наконец в 1983 году мне было разрешено поехать на один месяц в Университет Рицумэйкан в Киото, считавшийся марксистским. С ним Институт востоковедения состоял в отношениях научного обмена. Вдруг меня вызывает к себе куратор академических учреждений по линии КГБ и сообщает, что Японский фонд дает мне грант на полуторамесячную стажировку в Японии. Заявку в Японский фонд я подавала несколько лет подряд, но не была уверена, выходила ли она за пределы стен института. И вдруг такое везение. Однако, заявил куратор, дважды меня в Японию не пустят, и я должна выбрать одну командировку из двух. Он предложил предпочесть месячную командировку, поскольку, мол, на нее уже были оформлены документы. Поездка была намечена на октябрь 1983 года, но она чуть было не сорвалась. В сентябре наши сбили корейский самолет, на борту которого находилось много японцев. Япония наложила месячный запрет на выдачу советским въездных виз.

Все-таки в ноябре моя поездка состоялась. Как было положено в то время, перед отъездом меня вызвали в ЦК на Старой площади и проинструктировали, о чем можно и как нужно было говорить с японцами. Западные японоведы обычно попадали в Японию, будучи еще студентами или аспирантами, и проводили там, по меньшей ме-

ре, год. Я же должна была за месяц ознакомиться со страной в целом, хоть немного «развязать» свой японский язык, говорить на котором мне не очень приходилось, понять, кто и под каким углом зрения изучает «школу национальных наук», закупить или перекопировать необходимые научные труды и еще многое другое. Очень помог мне в осуществлении моих замыслов профессор Токийского университета Окуда Хироси. Сам он был экономистом и занимался коллективизацией в СССР, каждый год приезжал в Ленинград, и мы подружились. Он свозил меня на родину Мотоори Норинага в город Мацудзака. Я побывала в доме-музее ученого и узнала любопытный факт: у Норинага было две могилы. В одной, семейной на кладбище, по буддистскому обычаю хранился его прах и табличка с посмертным именем. Другая же находилась на горе над городом. На ней было написано знаменитое стихотворение:

Если спросят,  
В чем душа Японии,  
Ответь —  
В аромате горных вишен на заре.

Норинага завещал направлять именно на эту могилу всех, кто захочет поклониться его праху. Под конец дня мы побывали в ресторане, где готовили (вернее, подавали сырой) знаменитую говядину Мацудзака вместе с сырыми яйцами. Туда же пришли и журналисты, весьма удивленные тем, что в далеком Советском Союзе кто-то знает имя японского мыслителя XVIII века.

Профессор Окуда также помог мне опубликовать в журнале японских русистов «Мадо» статью об Оттоне Оттоновиче Розенберге, российском буддологе, изучением творчества которого я занималась незадолго до поездки в Японию. В общем, поездка прошла плодотворно, и мое имя стало несколько известно в Японии. Перед отъездом японцы, конечно, поинтересовались, когда я приеду по гранту Японского фонда. Пришлось что-то наплести про семейные обстоятельства, которые якобы не позволят мне приехать. Но скажите, кому помешала бы еще одна подобная поездка, тем более что она могла быть осуществлена за счет Японского фонда?! Больше до перестройки я никуда не выезжала.

В остальном жизнь проходила более или менее как у всех советских людей. Благодаря папе и получаемому им «обкомовскому пайку» питались мы, пожалуй, лучше среднего, но и проедали и пропивали этот «паек» вместе с компанией друзей. Помню, как одна моя подруга умяла одно целое блюдо севрюги, купить которую в магазинах было немислимо. Наш дом был привлекательным для многих не только потому, что там можно было вкусно и много поесть, но и потому, что мой муж играл на многих музыкальных инструментах, пел блатные песни и коллекционировал музыкальные записи и пластинки. «Танцы-шманцы-обжиманцы» были нашим любимым развлечением в 1970-х годах. Однако постепенно нас стало увлекать не бурное веселье молодости, а беседы с отцом и людьми его поколения, которых я стала приглашать к нам в гости, и мы обсуждали насущные проблемы жизни, которая все более и более приобретала нежелательные черты. Особенно мы любили остроумные рассказы Бориса Абрамовича Фельда, сотрудника «Ленинградской правды», и Матвея Львовича Фролова, старейшего радиожурналиста города.

Благодаря отцу, члену Союза писателей, я могла выезжать на отдых зимой в Дом творчества Комарово, а летом в Коктебель. И то и другое были знамениты как места, куда стекалась интеллигенция всех поколений, — о них уже достаточно написано в литературе. Здесь мне хотелось бы добавить одну деталь. Среди писательской ин-



теллигенции преобладали, как говорится, лица еврейской национальности, многие из которых уже нацелились на выезд за рубеж. В нашей же семье никто об этом даже не помышлял, хотя мы подшучивали над дедушкой, что, мол, он один как еврей мог бы всех нас вывезти. Я стала себя неуютно чувствовать среди тех, для которых выезд из Советского Союза был главной целью, а они, естественно, сторонились меня — здесь сказывалось и общественное положение отца. Однако именно среди еврейской интеллигенции было много интересных и привлекательных молодых людей, но бабушка зорко следила, чтобы в среду моих кавалеров не попал еврей. Когда я ей рассказывала про какого-нибудь своего нового знакомого, первым делом она спрашивала его фамилию, чтобы определить национальность. Видно, настолько сильно ей запал в душу страх от пережитого в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Найти интересного и умного русского мужа было делом далеко не простым, особенно на восточном факультете. Как мне стало известно позднее, многие «охотились» на меня, чтобы стать зятем моего «могущественного» папы. Разные знакомые рассказывали мне, что мой первый муж Александр, учившийся на том же восточном факультете, якобы бегал по факультетским коридорам с победным криком, но вовсе не потому, что мы решили пожениться, а потому, что отныне считал свою жизнь удачно устроенной. Сам он был родом из Баку и как всякий провинциал искал возможность зацепиться в Ленинграде. Я, наивная, об этом и не подозревала, хотя, вероятно, в его в принципе хорошем отношении ко мне не последнее место занимали и те возможности, которые перед ним открывала женитьба на мне. Мой отец всегда устраивал его то на одну, то на другую работу и в конце перестройки даже успел «выбить» помещение на Адмиралтейском проспекте для его любимого детища, издательства, занимавшегося выпуском изобразительной продукции, прежде всего с полотнами Эрмитажа. Правда, в начале 1990-х годов это помещение было захвачено рэкетирами, а в самого к тому времени уже бывшего мужа стреляли. К счастью, он остался жив, но прекратил всякое общение с членами своей бывшей семьи.

### **Дорога в Японию лежит через Европу и Австралию**

В 1987 году в Институт востоковедения приехал английский ученый из Кембриджа Питер Корницкий. Тогда он занимался составлением каталога старопечатных японских книг, хранящихся в библиотеках и архивах Европы. Естественно, его интересовал наш рукописный фонд. Но поскольку иностранцев в сам фонд не пускали, меня поставили помогать Корницкому носить материалы из рукописного отдела в Японский кабинет и обратно. В процессе работы мы подружились. Корницкий прислал мне приглашение приехать на следующий год в Дарем на конференцию Европейской ассоциации японоведения, о которой я упоминала выше. Горегляд такое приглашение уже имел. В эти перестроечные времена все, казалось, устремились за границу. Отдел Академии наук, занимавшийся оформлением загранпаспортов и билетов, не справлялся с потоком желающих посмотреть мир. Выдержав многочасовое стояние в очередях, мы с Гореглядом где-то часов под десять вечера все же получили загранпаспорта и билеты, однако в паспорте мой год рождения был прописан как 1928-й вместо 1948-го. К концу этого тяжелого, но все же счастливого дня я уже и выглядела, наверное, лет на двадцать старше. Поехали куда-то исправлять паспорт, что получилось на удивление быстро, а потом на телеграф отправлять телеграмму Корницкому.

На следующий день прилетаем в Хитроу. Предполагалось, что Корницкий нас встретит и мы поедem на его машине в Дарем. Однако Корницкого в аэропорту мы не об-

наружили. Меняем копейки, выданные нам Академией наук, и звоним ему домой. Оказывается, что он не получил нашу телеграмму из-за забастовки почтовых служащих, проходившей в те дни в Англии. Сидим и терпеливо ждем, когда он приедет из Кембриджа в Хитроу. Наконец наш друг появляется. Мы едем к нему домой, где нас уже ждет польский профессор Катаньский, специалист по «Кодзики». Домик Корницкого чем-то напоминал нашу квартиру в Ленинграде. Кухня и столовая также были объединены. Привыкаем мыть лицо не струящейся из крана водой, а смешанной в раковине. Следующий день решаем посвятить экскурсии по Лондону: сначала Тауэр, потом Вестминстерское аббатство, охраняемое гвардейцами в меховых шапках, и Британский музей — все, как было написано в моих школьных учебниках по английскому языку. Мечта начинает становиться реальностью. Утром садимся в машину, мне выдается путевая карта — в мои обязанности входит следить за дорогой и указывать путь. Едем на север в Дарем. По дороге останавливаемся у какого-то, как мне кажется, полуразрушенного монастыря. Там дети в старинных костюмах разыгрывают пьесу Шекспира.

В Дареме нас селят в общежитие университета, расположенного в старинном замке, где повсюду стоят рыцари в латах. На приеме англичане запускают в виде воздушных шаров привидения, якобы обитающие в замке уже несколько веков. Ночью на меня падает висевшая над кроватью книжная полка — видно, привидение подстроило. Горегляд знакомит меня с японоведами из разных стран, которых он уже знает благодаря своему членству в Европейской ассоциации японоведения. Все очень интересно, я свободно общаюсь по-английски, с меньшим успехом по-японски, однако появляется проблема, с которой я столкнулась впервые в жизни.

На конференции принято подавать заявки заблаговременно. Потом из прошедших отбор заявок составляются тематические секции (так в принципе было и в Советском Союзе). Мне же никто не сказал, чтобы я подала заявку в Дарем заранее, так как вообще не было уверенности, что я туда попаду. Получилось, что мне негде было выступить — все секции забиты. Все же профессор Вильям Боут из Лейдена нашел возможность для моего выступления в руководимой им секции. Тут-то я и сказала про «незыблемость института императорской власти в Японии». Вежливые западные ученые не стали меня напрямую критиковать, они только поразились, что я так упорно добивалась выступления, чтобы сказать такую, по их мнению, чушь. Два года назад я встретила на симпозиуме в Норвегии с упоминавшейся выше Кэрол Глак, автором книги про японскую идеологию, и рассказала ей, как ее книга была одной из первых работ, которые ввели меня в русло интересов западных японоведов. С тех пор я стала активно и регулярно принимать участие во всех конференциях Европейской ассоциации японоведения, а с 2008-го по 2011 год входила в состав ее совета.

Осенью 1988 года благодаря К. О. Саркисову, заведующему сектором Японии в Московском отделении Института востоковедения, я вновь попала на месяц в Университет Ричмонд. Темой командировки был все тот же институт императорской власти. Надо сказать, что в тот год в Японии не было более животрепещущей темы. Близилась кончина тяжелобольного императора Хирохито. В средствах массовой информации и в научных кругах активно обсуждался не только вопрос о его ответственности за преступления Японии во время Второй мировой войны, но и характер предстоящей коронационной церемонии следующего императора. Мой старый друг Окуда Хироси, пять лет назад возивший меня на родину Мотоори Норинага, познакомил меня с профессором Ватанабэ Хироси с юридического факультета Токийского университета. Он занимался общественной мыслью Японии периода Токугава. Благодаря ему я смогла понять многие детали дискуссии о предстоящей коронации и, вернув-

шись в Ленинград, довольно быстро опубликовала статью в «Народах Азии и Африки» на тему «Дайдзесай — церемония великой пробы нового урожая (к вопросу о характере императорской власти в Японии)». Это как раз был отличный пример «изобретения традиции», но я все еще недостаточно четко это понимала и рассматривала «Дайдзесай» как воплощение древней традиции, хотя в действительности почти все, происходившее на этой церемонии, было «сконструировано» как раз во время коронации самого Хирохито в 1925 году.

В 1989 году в моей ленинградской квартире раздался телефонный звонок, и говорящий представился не кем иным, как профессором Хаями Акира, который был крупнейшим специалистом в области демографии Японии. Он спросил, не желаю ли я приехать в Японию на конференцию по сравнительной истории Японии и России и выступить вместе с Н. Ф. Лещенко и И. П. Лебедевой на специальном семинаре в только что открывшемся в Киото Институте японских исследований, у которого еще даже не было своего постоянного помещения. Надо ли говорить, что я с удовольствием приняла его приглашение. Именно благодаря этому проекту по сравнительной истории у меня завязались связи с японскими историками, благодаря которым я стала впоследствии работать в Японии и с которыми я общаюсь по сей день. Посещение Нитибункэна, как сокращенно именуется всеми Институт японских исследований, дало уже теперь мне возможность выступить с протекцией английского ученого Джона Чэпмена — я смогла представить его сотрудникам Института японских исследований. Он в свою очередь отблагодарил меня тем, что дал мне информацию о возможности подать заявку на грант в Фонд Кэнон в Европе на 1992 год. По условиям этого фонда можно было поехать на шесть месяцев в Японию, а еще шесть месяцев провести в каком-либо научном учреждении в Европе. Но всюду нужны были, как это принято, подтверждения о согласии принимающей стороны.

Этим я смогла заняться во время очередной конференции Европейской ассоциации японоведения, проходившей в Берлине в сентябре 1991 года. На сей раз к конференции я тщательно подготовила два доклада. Один был о «японских» и «китайских» концепциях в учении Мотоори Норинага, а второй о советских оценках «Революции Мэйдзи» в Японии. Главным для меня был первый доклад, так как в нем я изложила именно то, чему я научилась во время работы в Институте востоковедения. Выступить-то я выступила, но посыпались вопросы со стороны японцев, естественно, на японском языке. Говорить свободно по-японски я в то время еще не могла. К счастью, я догадалась начать писать по-японски на доске высказывания Норинага. Мой японский оппонент стал делать то же, а понимать написанное по-японски мне было легче, чем произнесенное. Получилось, что в результате я ему удачно парировала. Мое выступление произвело впечатление, возможно, даже не столько содержанием, сколько смелостью, с которой я себя вела. Лет через семь-восемь я повстречалась с моим тогдашним оппонентом уже в Японии, и мы вновь вспомнили дискуссию 1991 года.

Профессор Вильям Боут из Лейдена согласился стать моей «принимающей стороной» по Фонду Кэнон в Европе, а в Японии им стал профессор Кодзима Сеити из Университета Конан (Кобэ), с которым мы с легкостью общались по-английски, участвуя вместе в проекте по сравнительной истории России и Японии. За эти годы Питер Корницкий еще раз приехал в Ленинград с женой и двумя детьми уже по моему личному приглашению. Именно от него я тогда узнала, что большинство ведущих японоведов Англии начинали свою карьеру в Австралии, где было легче найти работу, чем в Европе.

Осенью 1991 года я подала заявку на грант Фонда Кэнон в Европе. Ответ все не шел и не шел. К счастью, моя приятельница по Институту востоковедения Ксения Кеп-

пинг как раз находилась в Лейдене и зашла по моей просьбе в фонд, главная контора которого была в Амстердаме. Оказалось, что моя заявка была одобрена и соответствующий факс уже давно был направлен в институт, но по какой-то причине не попал мне в руки. Факс был направлен вторично, и оформление моей поездки началось без особых проблем.

Шел конец 1991-го — начало 1992 года, когда Советский Союз уже рушился, а в стране происходила сумятица. Зарплату в институте не очень выплачивали, и ее не хватало на жизнь, так что все прирабатывали на стороне. Тут-то я и вспомнила рассказ Корницкого об Австралии, нашла в библиотеке института справочник японоведческих центров мира и послала в каждый центр в Австралии и Канаде письма с запросами о возможной работе. Письма я посылала с кем-нибудь из знакомых, выезжавших за границу. Очевидно, человек, с которым я послала письма в Канаду, подвел меня, так как из Канады я не получила ни одного ответа, а из Австралии их пришло несколько. Из них три университета действительно предлагали конкретную работу. Мне особенно подходила присланная мне факсом вырезка из газеты «The Australian», где содержалось объявление о позиции на факультете азиатских и международных исследований в Университете Гриффис в городе Брисбене. Им требовался преподаватель истории Японии, а именно история Японии была моей главной специальностью. На последние 30 долларов, полученных за публикацию очередной статьи в журнале «Мадо», я послала в Австралию пять страниц факсом со своей биографией, копией диплома и списком научных работ. Буквально через несколько дней позвонили по телефону мне домой и спросили, смогу ли я приехать на собеседование, разумеется, за их счет. Я как раз отъезжала в Лейден, и последующие переговоры о конкретном дне собеседования велись уже оттуда.

Итак, где-то 10 июня 1992 года я схожу по трапу с самолета в Брисбене в самодельной юбочке и кофточке, купленной уже в Голландии. Один день дается на отдых, а потом я выступаю с лекцией перед членами факультета и всеми желающими послушать. Хорошо, что в Лейдене я успела дать прочитать свою лекцию Тому Харперу, моему знакомому еще по Дарему, отрепетировать ее как следует, так что я даже умудрилась пошутить при ответе на вопросы. Вечером меня пригласили в ресторан и предложили место старшего лектора на три года с возможностью дальнейшего продления. Я, как послушный совок, позвонила в Посольство России в Канберре и спросила разрешения. Никто не возражал. Я не склонна приписывать себе особые заслуги в том, что мне предложили данную позицию. Просто кто-то уходил в годичный академический отпуск и, ища себе замену, послал мне вырезку из газеты. В то время в мире был большой интерес к людям из бывшего Советского Союза. На факультете азиатских и международных исследователей было много марксистов, правда, не советского, а альтузерианского (французского) толка, и, как оказалось в дальнейшем, среди студентов был популярен троцкизм.

В Университете Гриффис уже работало несколько поляков, можно сказать, друзей из бывшего социалистического лагеря. На следующий день они пригласили меня к себе домой на барбекю. В тот вечер жена одного из них сказала мне, чтобы я не надеялась найти себе мужа в Австралии, а лучше бы приезжала со своим. Однако мужа у меня уже не было. Был друг, которого я страстно любила много лет. Он был евреем из провинции и имел двух детей от первого брака, которых обожал больше всего на свете. Когда-то по молодости он вроде бы хотел, чтобы я родила ему ребенка, но жениться на мне не очень-то собирался. Не собиралась и я. Такой вариант никак не вписывался бы в представления о жизни моих уважаемых родственников. Я понимала, что у этой любви не может быть счастливого конца в виде брака, как то

предписывалось не только американскими фильмами, но и советскими представлениями об отношениях между мужчиной и женщиной. Поэтому разводиться с первым мужем я не собиралась до тех пор, пока он сам от меня не ушел, что, кстати, стало одним из стимулов к поиску работы в Австралии. К началу 1990-х годов бабушка и дедушка давно умерли. Мой некогда высокопоставленный отец прозябал на пенсии. Семьи в стране разваливались, как и сама страна. Поэтому я решила сделать Рудольфу (так звали любимого) предложение создать общую семью для наших детей и моих родителей в Австралии. Он согласился, мы поженились и стали оформлять документы в Австралию. Для него это еще была и возможность вывезти из России большого внука, поэтому совесть его была на этот раз спокойна.

Помимо занятия длительными бюрократическими процедурами по переводу документов сначала на голландский язык, а потом на английский, живя в Лейдене, я готовила себя к преподавательской работе в Австралии, читала всю ту научную литературу на английском языке, которую не могла прочесть в советские времена. Голландские коллеги с воодушевлением помогли мне разобраться в тонкостях преподавания в западном университете: учили, как составлять курсы лекций и семинарских занятий, как принято было оформлять научные статьи и строить научный аргумент. Ведь в Советском Союзе в области истории аргумент был один: раскритикуем буржуазный подход, покажем, как ту или иную тему следует подавать с точки зрения марксизма. Особенно я благодарна уже упоминавшемуся Тому Харперу, Курту Радке, Ричарду Бойлу и недавно скончавшемуся профессору Олафу Лидену из Дании. Одновременно меня пригласили выступить с серией лекций в университете города Тюбингена, что также стало хорошей тренировкой перед Австралией.

По условиям гранта Фонда Кэнон в Европе мне еще предстояла научная работа в Японии. Я уже была почти готова к поездке в Японию, но оставалось найти, где там можно жить, что с моим недостаточным опытом «свободной» жизни было не так просто. Раньше нас всегда селили в общежитии Университета Рицумэйкан или в Доме для иностранных ученых в Токио. Я обратилась за советом к профессору Кодзима Сеити, моему «приглашающему профессору» в Японии. Вдруг, как всегда неожиданно, раздается телефонный звонок в шесть часов утра. Звонит Кодзима и... предлагает мне работу в Японии в университете Хиросимы, которому еще предстояло открыться через три года. Кодзима выступал от имени профессора Хираи Томоеси, специалиста по советской истории, занимавшегося в тот момент организацией университета в Хиросиме. Более того, оказалось, что я смогу поселиться на два-три месяца у соседей профессора Хираи, да еще и весьма задешево. Договорились, что мы обсудим вопрос будущего во время моего пребывания в Японии. Наступал новый, 1993 год. Его я встретила в Японии.

Вскоре профессор Хираи пригласил меня на собеседование в мэрию Хиросимы. Мне предлагали начать через два года преподавание истории русско-японских отношений, истории и культуры России, русский и английский языки. Я колебалась, так как ни один из этих предметов я не знала так же хорошо, как историю Японии. Кроме того, мною уже был подписан контракт с Университетом Гриффис на три года, и в случае его несоблюдения мне следовало бы платить неустойку. Профессор Хираи нашел выход, заключавшийся в том, что я приеду в Японию после того, как отработаю положенные три года в Австралии, а Хиросима была готова меня подождать. Мои сомнения определялись еще и тем, что в Австралию я могла бы перевезти родителей — по условиям иммиграции в Австралию это было возможно, но Япония не была столь открыта для иммигрантов.

3 февраля 1993 года я приехала в Австралию и уже 14 февраля провела первую лекцию. В Австралии я быстро познакомилась со многими русскими, проживавшими

там как со времен послевоенной иммиграции, так и переехавшими туда совсем недавно. Они все много мне помогали в бытовом отношении разными советами, не всегда, правда, оказывавшимися удачными. Читать лекции было не очень трудно, но с семинарами было сложнее: австралийский английский значительно отличается от его британской версии, на которой я говорила, поэтому понимать студентов было трудновато. Иногда одни студенты, которые уже хорошо меня знали, просили остальных говорить на британском английском, но постепенно у меня стал вырабатываться австралийский акцент. Чаще меня ставили в тупик сами вопросы студентов. Например, помню, как при обсуждении проблемы о становлении национальных государств в Азии я не могла сказать ничего разумнее, кроме как вспомнить определение нации, данное Иосифом Виссарионовичем. По совету австралийских коллег я тщательно проштудировала книгу Бенедикта Андерсена «Воображаемые сообщества» (имелись в виду нации). Также я тогда довольно плохо ориентировалась в гендерной проблематике, которая все больше выходила в науку на первый план. Так что приходилось все время читать и читать, чтобы ликвидировать свои пробелы в научных знаниях. Зато я могла рассказать студентам много нового о советской политике в Азии, например, о роли Коминтерна в организации революционного движения в Японии, Китае и Вьетнаме. Благодаря работам бывшего коллеги З. Я. Ханина о дискриминируемых меньшинствах в Японии я приняла участие в предмете, который вела группа преподавателей. В данном случае он назывался «Дискриминируемые меньшинства в странах Азии». Накопленные к тому времени знания позволили мне предложить для аспирантуры курс «Японская цивилизация в современном мире», у меня появились и первые аспиранты.

Участвуя в конференциях, я поняла, что внимание ученых в то время стала привлекать проблема изучения роли «другого» (не только на личностном уровне, но и на уровне государства или этнического сообщества) в процессе формирования представлений о «себе». Новым для меня было и использование визуальных материалов в качестве научных. Так, меня просто потрясло выступление (сейчас не припомню, кто именно выступал), в котором анализировались картины Поля Гогена, изображавшие женщин Таити, с точки зрения создания художником собственного образа, а также с точки зрения феминизма и колониализма.

Моей первой работой, появившейся в австралийском научном журнале, стала статья «Образ Японии в советских исследованиях». В то же время я опубликовала на русском языке в журнале «Восток» статью «Японская национальная идея и Мотоори Норинага: вымысел или реальность?», в которой довела до конца свои разработки на тему традиции, понимаемой мною на сей раз как изобретение мыслителей и политиков, преследующих далеко не безобидные идеологические цели.

В 1995 году произошел инцидент в токийском метро, когда религиозная секта Аум-Синрикё использовала смертоносный газ зарин, от которого пострадали мирные жители. Испытания газа велись в Австралии, а сама секта проникла и в Россию. На этом основании мне удалось получить научный грант для исследования деятельности секты в России. Соответствующая статья была опубликована в журнале австралийских японоведов и довольно широко им анонсировалась. Так что постепенно я стала чувствовать себя уверенно в австралийском и вообще западном научном сообществе, занимавшемся Японией.

Если в научном плане моя жизнь складывалась довольно удачно, но этого нельзя было сказать про остальное. Подходили к концу первые три года пребывания в Австралии, мне продлили контракт на работу, но предстояло сделать окончательный выбор в пользу Австралии или Японии. К тому времени я уже получила австралий-

ское гражданство, причем Австралия не требовала отказа от российского. Так я стала человеком с двойным гражданством. По примеру русских, более длительное время проживавших в Австралии, я продала квартиру в Петербурге и купила дом для всей семьи в Брисбене, что было одним из необдуманных моих поступков. Если мама колебалась, ехать ко мне или нет, то отец наотрез отказался. Сын приезжал в гости два или три раза, но ему больше улыбались учеба и жизнь в Японии. Он тоже был японистом по профессии, поступил в магистратуру Университета Сэйнан гакуин к моему старинному другу профессору Евгению Борисовичу Ковригину, подрабатывал переводчиком, собирался жениться на японке. Одна из дочерей мужа тоже приезжала в гости. Австралия ей нравилась, но ее муж, с которым она развелась, отказывался дать разрешение на иммиграцию их общего сына. Мне предлагалось его «украсть», то есть пригласить в Австралию и оставить незаконно, что я решительно отказалась сделать. Тем временем японцы из Хиросимы все активнее вовлекали меня в работу в Муниципальном университете. Я писала планы занятий, думала, как совершенствовать свой японский язык. Надо сказать, что в Австралии изучение Японии очень хорошо развито, японский преподается в школах, все, кто хочет, постоянно бывает в Японии и может хорошо говорить по-японски. В этом плане я чувствовала свою уязвимость. Муж считал, что мне стоит переехать в Японию, так как только там я смогу состояться как японист. Видимо, чувствуя, что «австралийский план» выезда его дочерей из России вряд ли состоится, он понимал, что ему предстоит действовать другим путем. В конце концов он все же перевез дочерей и внука в Германию, иммигрировав туда по еврейской линии.

Факультет, где я работала в Университете Гриффис, предложил мне взять годичный отпуск без оплаты содержания, но требовалось основательно объяснить, почему я иду на такой шаг. Я написала в обосновании, что, будучи японистом, я не могла развиваться профессионально в достаточной степени в Советском Союзе, так как меня не выпускали в командировки в Японию и я плохо владею японским языком. Обоснование было признано удовлетворительным, я сдала в аренду австралийский дом и отправилась в Хиросиму.

### **Япония — история на всю жизнь**

Проработав год в Японии, я поняла, что это «моя страна». Кому-то может показаться несущественным, но я весьма маленького роста и очень страдаю от этого. Западные люди, включая австралийцев, в большинстве своем высокие. В Австралии или в Германии в поезде я, например, не могу достать до полки, чтобы положить на нее чемодан. Стулья, кресла, раковины для мытья рук и прочее оборудование рассчитаны на людей высокого роста. То же относится и к недавно появившемуся поезду Москва—Петербург «Сапсан». Больших мучений, чем в креслах «Сапсана», я не испытываю нигде. В Японии же все рассчитано на людей, которые ближе мне по росту, мне здесь физически комфортно. Теперь уже мне приятно поговорить по-японски, который я наконец освоила. Японцы, как всем известно, отличаются большой вежливостью, всегда готовы во всем помочь, особенно западному человеку, и я получаю удовольствие от такого их поведения.

Хотя многие десятилетия отношения между Россией и Японией были напряженными, в действительности на повседневном уровне в жизни двух народов было много объединяющих их моментов. Приведу такой пример. Приезжаю в Японии на бензоколонку. Обычно спрашивают, из какой страны я приехала. Если скажу, что из Ав-

стралии, то в ответ, скорее всего, прозвучит: «А-а! Кенгуру! Коала!» Иногда назовут город, куда приходилось ездить отдыхать. Если же сказать, что ты из России, то чаще всего последует длинный рассказ из собственной жизни или жизни друзей-родственников, связанный с Россией. Так, когда мои родители все же приехали погостить в Японию и мы зашли на рынок в Ивакуни около знаменитого пятиарочного моста, продавцы, узнав, что мы из России, в один голос запели «Катюшу» и «Красный сарафан». Поэтому если я тороплюсь, то представляюсь как австралийка, что в принципе соответствует действительности, потому что я живу в Японии по австралийскому паспорту.

Поскольку в Хиросиме я преподавала российско-японские отношения, то это же стало и постоянной темой моих научных исследований. Я довольно удачно, правда не каждый год, получала гранты Муниципального университета Хиросимы и Японского общества содействия развитию науки, что давало возможность ездить в Россию. Да и зарплата позволяла это делать. В Австралии я научилась использовать визуальные материалы в качестве научных, и у меня появился интерес к исследованию проблемы национальной идентичности, а конкретную тему, как мне уже приходилось писать в другой статье, мне подсказал папа. Он вспомнил, что когда-то ему довелось увидеть в отделе эстампов Российской национальной библиотеки так называемые «народные картины» времен Русско-японской войны. Эти аляповатые и безвкусные листы в приличных семействах использовались разве что в качестве покрышек на сундуки, но в крестьянских семьях их вешали рядом с иконами. Поэтому созданные ими образы японцев как безобразных желтолицых карликов, всегда готовых обвести честного русского человека вокруг пальца, внедрились в народное сознание, стали почвой для появления презрительных выражений типа «япошки-макаки» и т. п. (к счастью, сейчас этого уже нет). В конце 1990-х годов как раз приближалась столетняя годовщина Русско-японской войны (1904–1905). «Народные картины» до тех пор не были еще объектом научного исследования, и мой папа предложил мне заняться изучением образа Японии в России, начав с «народных картин». Я последовала его совету. Вскоре я получила грант на тему «Взаимные русско-японские образы». Мне удалось объединить вокруг этой темы группу ученых, состоящую не только из русских, но японских и западных специалистов. В 2008 году в английском издательстве «Глобал ориэнтал» мы выпустили книгу «Япония и Россия. Триста лет взаимных образов», а в 2014 году книгу на русском «Япония и Россия. Национальная идентичность сквозь призму образов». Образы при этом трактовались нами в двойном плане: с одной стороны – как визуальные изображения, но с другой стороны – как образы, которые появляются в человеческом сознании как факторы, влияющие на формирование и в то же время отражающие наши представления о самих себе и о других.

Отдельно следует сказать и о русском научном сообществе, проживающем в Японии. С начала 1990-х годов японцы стали приглашать для работы в университетах ученых из России. Аспиранты из бывшего СССР также стали сначала учиться в университетах, а потом продолжали уже работать. Так набралось около сорока человек. Хотя никакой своей специфической организации у нас нет, мы активно сотрудничаем в японских научных ассоциациях и конференциях, каждая из которых является праздником, на котором можно пообщаться с соотечественниками.

Пять лет назад я по возрасту вышла на пенсию и, покинув Хиросиму, переехала, но не в Россию, а в Киото. Родители к тому времени уже скончались, а сын, второй раз женившись все же на русской, переехал в Японию окончательно и открыл в Киото Галерею японского искусства. У него трое детей, из которых двое уже учатся в японской



школе. Я же преподаю как почасовик в Университете Осака свой любимый предмет — историю Японии, а также визуальную культуру и курс «Культурные иконы в манга и анимэ». В качестве научной темы я по-прежнему занимаюсь русско-японскими отношениями и для сбора материалов постоянно езжу в Россию. Мне нравится жить на две, а то и на три-четыре страны, так как Австралию и Германию я тоже не забываю.

На сайте Института восточных рукописей (именно так теперь называется бывшее Ленинградское отделение Института востоковедения) стоит подзаголовок «Востоковедение как образ жизни». Очень точное название. Наверное, для каждого человека, занимающегося наукой, как, впрочем, любой другой творческой профессией, его любимое занятие становится «образом жизни», которому подчиняется все другое. Так, если кто-то из членов твоей семьи решил, к примеру, поехать на горный курорт покататься на лыжах в компании друзей, ты все же постарайся уклониться от этого и предпочтешь посидеть дома за письменным столом в тишине и одиночестве. Как пишет Леонид Зорин, письменный стол — это мука, которая всегда с тобой (Бубенчик). Правда, не всем членам семьи, особенно мужчинам, нравится такое поведение со стороны женщины, к тому же еще и бабушки, но мне кажется, что моя бабушка была бы мной довольна.